

Приятного чтения!

Иллюстрации О. Д. Коровина

Сергей Алексеевич Баруздин Её зовут Ёлкой

— А я знаю. Ты и есть Александры Федоровны внук.

— Откуда знаешь?

— Похож. Ой, до чего ж похож! Правда! А чего ты раньше никогда не приезжал сюда?

Всего что угодно мог ожидать Ленька, но только не этого. Говорили, что он похож на отца. Это верно, пожалуй. Ну, на мать. Может быть. Частично. Но чтобы он, мальчишка, был похож на бабушку! Это невероятно. Ленька даже покраснел.

— А чего, я спрашиваю, не приезжал раньше? — не унималась она.

Почему он не приезжал сюда раньше? Как ей сказать! Может, это и нехорошо, что он никогда не бывал здесь, у бабушки. Но как-то все было просто, и он не приезжал. В пионерские лагеря ездил. На смену и на две. А в прошлом году и на три. А раньше?.. Раньше Ленька в детском саду был. Смешно, наверно? Наверно... С детским садом и ездил за город... Только этого он почти не помнил...

— Бабушка каждый год у нас гостила. Потому и не приезжал, — пробормотал Ленька. А про себя подумал: «Ну и девчонка!..»

Это было в предпредвоенном тридцать девятом, когда Ленька впервые попал в Сережки. Они встретились в магазине сельпо, куда Ленька ходил за солью.

Ее звали Елкой. Иногда ласково — Елочкой. Но так Ленька не решался.

В Москве он был парень как парень, а тут перед ней пасовал. Когда два года назад на спор с крыши трехэтажного дома прыгнул — не боялся. Ногу сломал, пяточную кость, — терпел. Прежде в школе (во втором классе, кажется, учился) на перилах катался, упал в пролет лестницы, все зубы вышиб — молчал, не хныкал. А совсем давно, до школы еще, залез в колючую проволоку. Отцу пришлось разрезать ее ножницами, чтобы вынуть Леньку, а он и глазом не повел. Сжал зубы, а потом даже хвалился. Учителей в школе или старших ребят Ленька никогда не боялся. А тут...

Елка, Елочка, Елка-палка. Смешно, наверно? Наверно...

— А почему тебя так зовут — Елка? — спросил как-то он.

Вообще-то неожиданных имен в те годы было немало. Индустрия, например, Электрификация, Вил, Рабкрин, Сталина, Коллективизация...

У Леньки в классе даже один Проля был, а полностью — Пролетарская Революция. Когда вырастет, Пролетарская Революция Петрович будет!

Но Елки он никогда не встречал.

— А Сережки — разве не смешно? — выпалила она. — Почему наша деревня Сережками называется? Вот и не знаешь!

Ленька опешил: он не знал.

И откуда ему было знать! Он и название-то «Сережки» вроде не слышал. Знал, что бабушка живет где-то в деревне, что рядом есть речка. Нара называется. А Сережки...

Вот, например, все испанские города и провинции, где шла борьба республиканцев с франкистами — Мадрид, Толедо, Валенсия, Гвадалахара, Астурия, Каталония, — он знал. Всех героев-пограничников, начиная с Карацупы, знал. И всех стахановцев и летчиков, совершивших дальние беспосадочные перелеты на Дальний Восток и в Америку, не говоря уже о челюскинцах и папанинцах. Не только по фамилии, но и по имени-отчеству.

Футболистов «Торпедо», «Спартака» — тоже. Даже там разных иностранных представителей в Лиге Наций. Все высоты у озера Хасан: Безымянная, Черная, Богомольная, Заозерная, Пулеметная Горка, Междорожная...

Знал, наверно, потому, что любил читать газеты — взрослые, не только «Пионерскую правду».

А что Сережки! Про Сережки в газетах не писали. И бабушке в Сережки ему писем писать не приходилось.

Летом бабушка, верно, иногда гостила у них в Москве, а порой и зимой, к рождеству, а точнее — к Новому году, приезжала!

— Думаешь, из-за березкиных сережек? — продолжала Елка. — Вот и нет, хотя и много у нас березок вокруг. Просто помещик у нас тут жил один, в нашей школе, только до революции это было. Так, говорят, чудаковатый... Всех детей своих Сережками называл. А у него одни мальчишки и нарождались. Шесть детей, и все мальчишки! Вот и повелось — Сережки!.. Так папа мне объяснял. И мама. Вот!

— Интересно! — не выдержал Ленька, в самом деле пораженный неожиданным открытием.

Но подумал о другом. «Папа», «мама». Это смешно! Елке тринадцать лет, не маленькая уже, а говорит, как маленькая. Ленька никогда бы так не мог сказать: «мама», «папа». Ну, уж лучше: «мам», «пап»... Или «мать», «отец», когда говоришь о родителях с ребятами.

И все же почему она, приземистая, коренастая, не похожая ни на елку, ни на палку (уж скорей Ленька был в ее глазах палкой), зовется Елкой, не понял.

Ленька был почти на голову выше Елки. Но оказалось, что это ничего не значит. Он робел перед ней, краснел, как перед старшей. Куда делась московская самоуверенность? Наверно, потому, что она болтала без умолку? И спорила? И знала больше него? А ведь была одноклассница и, уж если говорить о возрасте, на два месяца моложе Леньки.

— А, Елка? — Она улыбнулась, и ее длинные выгоревшие ресницы зашевелились, как мохнатые гусеницы. — Мама когда-то так назвала. Она русская у меня... Так и повелось — Елка! Все привыкли...

— Почему русская? — не понял Ленька. — А какая же еще?

— Папа у меня эстонец. Только обрусевший, — пояснила Елка. — Хочешь, Анкой зови или Аней. Так тоже можно. Только на самом деле меня Эндой зовут, через «э» обратное. Это по-русски значит «своя»... Вот!

Леньке казалось, что она обыкновенная деревенская девчонка. Ходит босиком. Лицо с веснушками. Выгоревшие волосы и кучьи косы. Даже глаза круглые, большие и, сразу видно, не голубые, не серые, не карие, а выгоревшие, бледные. И полинявшее платьице выше колен, не такое, какие носили городские девчонки. И вдруг... папа — эстонец. Энда — «своя».

— Значит, ты иностранка? — Ленька вовсе удивился.

Живых иностранцев ему видеть не случалось. Если не считать испанцев, да и то детей, которые приходили к ним в школу на пионерский сбор. Их было много в ту пору в Москве. Но испанцы почти не понимали по-русски, а Ленька, как и все ребята, понимал из их слов лишь одно: «Но пасаран! — Они не пройдут!» Это про фашистов, конечно...

— Какая же я иностранка, когда я языка эстонского не знаю и в Эстонии не была! — сказала Елка. — Знаю «тере», и все! «Здравствуйте», значит. Вот...

Елка, Елочка, Анка, Энда, «своя»... Всех этих премудростей Ленька сразу уразуметь не мог. В тринадцать лет да рядом с такой девчонкой — сложно.

— Я буду лучше звать тебя просто Елкой, — пробормотал он. — Ладно?

— А мне-то что! — весело сказала она. — Как удобнее, так и зови. — И тут же добавила: — В кино пойдешь со мной? «Семеро смелых». В клубе вечером крутят...

— Конечно. Почему не пойду!

— Так давай я за билетами сбегая! А то, пока мы тут разговоры разговариваем, билеты пропустишь!

Потом, в то же лето, Ленька, кажется, понял, почему она Елка. В самом деле, колюча, ершиста, как елка. Что ни слово ей — в штыки, ехидничает или смеется. Ленька сникал перед ней.

Он приехал в подмосковную деревню Сережки. Приехал на лето к бабушке, хотя мечтал совсем о другом — о пионерском лагере.

Впрочем, что там приехал! Леньку привезла в деревню мать, обеспокоенная состоянием его здоровья после воспаления легких. Правда, она до последнего дня говорила: «Ты знаешь, путевки в лагерь мне пока достать не удалось. И все же, может быть...» Но Ленька знал, что дело вовсе не в этой путевке, а как раз в воспалении...

После воспаления легких Ленька, правда, был тощ, как жердь, — таких жердей можно найти великое множество и в самой деревне возле изб и за ее пределами: у скотного двора, конюшни и огородов. Ленька был, наконец, бледен, как вода в Наре, где ему на первых порах запрещалось купаться.

— Ты уж на реку-то не ходи, Ленек, — просила бабушка. — А то я маме твоей слово дала.

Это Ленька и сам знал.

— Купаться ты будешь не раньше середины июля, когда вода в реке окончательно прогреется, — наставляла его мать. — И очень прошу тебя не спорить со мной! Иначе я скажу папе. Мы с ним все продумали, все учли...

Родители, видимо, все продумали, все учли. Кроме одного: купаться Ленька мог и так, не обязательно на глазах у бабушки.

Ну что ж, пусть он не попал в пионерский лагерь, как поначалу хотел, все равно. Деревня так деревня. Сережки. Пусть Сережки. Есть что-то и поважнее деревни и лагеря.

Лагерь лагерем, а экзамены? Экзамены не шутка! Воспаление легких накануне экзаменов — что может быть удачнее!

В шестой класс Леньку перевели без экзаменов как раз благодаря воспалению легких. Все одноклассники завидовали ему. Еще бы! На экзаменах многие схватывали куда худшие отметки, чем четвертные. А Леньке именно по ним, четвертным, выставили годовые. И все! Три «посредственно» (их называли ласково — «посики»), остальные — «хорошо» и «отлично». И хотя отличные оценки у Леньки были только по физкультуре и поведению (по поведению ниже отметок вообще никому не ставили, даже самым отъявленным лоботрясам, загремевшим на второй год), все равно это были реальные «отлично». Ленька ликовал!

Но отцу об этом не скажешь. Матери — тем более.

Ленька похвастался перед Елкой. В тот же день, когда познакомился с ней в магазине.

Елка почему-то отнеслась к его сообщению о школьных успехах довольно спокойно.

— Подумаешь! Похвальбушка! У меня тоже два «посика». Только я не болела и сдавала экзамены, как все...

...То ли из-за этой Елки, то ли еще почему, но деревня Леньке окончательно разонравилась. Впрочем, ему и раньше-то никогда деревни не нравились. Так ему казалось, хотя он в деревнях и не бывал никогда...

Ну что тут, в этих Сережках? С утра выйдешь на улицу — уже нет никого. Одни малыши голопузые в песке копаются. Тихо, хоть караул кричи. Ни людей, ни машин, ни гудков, ни голосов...

Другое дело — в Москве. Там...

Что там, Ленька не мог и самому себе передать, но там — это там... Вот хотя бы кино. Иди куда хочешь, выбирай любую картину! А что? В самом деле так: ведь в Москве кинотеатров пятьдесят, не меньше. Или во дворе... Сколько в каждом дворе ребят собирается! Хочешь — в футбол сыграй, хочешь — по чердакам лазай, как по джунглям каким, или по крышам, а надоело — пошел купил мороженое... На каждом углу, пожалуйста!

— Природа у нас красивая, Ленек! — говорит бабушка. — Раздолье тебе!

Природа — может быть. Но что Леньке и природа эта, и раздолье, когда вокруг так тихо и деревня какая-то глухая!.. В Москве он никогда не знал, что такое скука, а здесь,

пожалуй, заскучаешь. Правда, речка есть тут. Но и в Москве купаться можно. Ездили они с ребятами в Щукино на канал, к Тимирязевке на пруды ходили. Купайся сколько хочешь!

А радио? В Москве Ленька привык к нему настолько, что и не слушал. А здесь сразу заметил: чего-то не хватает. Понял: радио нет. И газет. Дома отец выписывал «Правду» и «Вечерку», не считая «Пионерки»...

Бабушке почтальон приносит одну маленькую газетку. «Маяк» называется. Но в ней ничего нет. Ни про какие события. Только про такую-то бригаду, и еще про такую, и еще... Кто сколько чего собрал, кто как подготовился к пахоте, к уборке, к сенокосу, как идет прополка...

Ленька каждый день просматривает этот самый «Маяк», но интересного в нем мало. Он жил мировыми категориями, а тут ему — как идет прополка...

— Ну что, правда хорошо у нас? — спросила Елка.

— Ничего... Так себе... — не особенно лукавя, ответил Ленька.

— А ты знаешь, что наш колхоз самый передовой в районе? Вот и не знаешь! — воскликнула Елка. — А то, что его выдвинули на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, знаешь? Э-э! Ну откуда тебе знать! Ты же москвич!..

В кино они ходили трижды. На «Семеро смелых», «Трактористы» и на немой фильм «Праздник святого Йоргена».

Поначалу Леньке неловко было ходить на глазах у всех с девчонкой.

Как-то он даже заикнулся:

— Может, ребят возьмем? Веселее!

У него уже были знакомые ребята в деревне.

— Если веселее, возьмем! Если меня боишься, обязательно возьмем! — отрезала Елка.

— Нет, почему же боюсь? Это я просто так, — попытался оправдаться Ленька.

В клубе всегда было тесно. Да и клуб, впрочем, не походил на клуб: бывший помещичий каменный амбар рядом со школой, заставленный длинными скрипучими лавками.

Елке, кажется, нравилось, что на них все смотрели. А Ленька прятал глаза, ерзал на месте и никак не мог дождаться, когда в зале потушат свет.

Наконец начинался сеанс, и Ленька, вероятно от долгого ожидания, почему-то принимался сопеть носом и чихать. Как назло, в самое неподходящее время у него появлялся приступ насморка.

— Будь здоров, — шептала Елка, поправляя на шее галстук.

И еще раз:

— Будь здоров!

Снова:

— Будь здоров!

И вот, как ему казалось, не без раздражения наконец спросила:

— Ты что, простудился? Будь здоров!

— Почему? Я всегда, между прочим, в кино чихаю. И в Москве! — как можно убедительнее произнес Ленька.

Возле избы Ленька поймал ежа. Он спокойно топал почти рядом с крыльцом. Леньке такого видеть еще не приходилось. Он, конечно, накрыл ежа. Куртку скинул и ею накрыл.

Ежик оказался смирный. Не свертывался в клубок, не кололся, только фыркал чуть-чуть, будто чихал.

Леньке очень хотелось похвалиться своей находкой. Но бабушки дома не было, и ребят на улице нет... Что делать?

Пустил ежа по полу в комнате. Вспомнил — молока налил в блюдечко, поставил перед ежом. Не пьет! Носом его в молоко окунул — фыркает, не пьет.

Опять взял ежа, вышел на улицу.

Елка тут как тут.

— Что это у тебя?

— Да вот, поймал! Сам, понимаешь! Он около крыльца, а я...

— Отпусти его! Сейчас же отпусти! — закричала Елка. — Что ты его мучаешь?..

Ленька так растерялся, что сам не сообразил, как нагнулся, выпустил из рук ежа, и тот сразу же, фыркнув, исчез в палисаднике.

— Скучно? — почему-то спросила Елка.

— А что скучно? Нет...

— Знаешь, у нас тоже дома целая семья ежиная жила, — вдруг сказала она. — Еж, ежиха и маленькие. Под крыльцом. Так папа, бывало, их всегда кормил. Они совсем ручные были. А раз он даже главному ежу самогону в блюдечко налил. Тот выпил, вот смеху было!.. А без папы и ежи пропали. То ли ушли куда, то ли что...

Ленька хотел спросить: «Почему без папы? А куда он делся?» Но не спросил. Промолчал.

Да и Елка уже о чем-то другом заговорила.

Сегодня он пришел в клуб без Елки. Был концерт самодеятельности, и она убежала раньше, чтоб подготовиться.

Оказывается, Елка пела. Ей подыгрывал гармонист.

Голос у Елки немного резкий, и все же ничего.

У лесной проталинки,
У ручья глубокого
Повстречала парня я
Синеокого.
С той поры, как встретимся,
Парень все смущается,
Говорить про трудодни
Принимается.
Ну, а мне-то про любовь
Все услышать хочется.
Про дела знаю я:
Как-никак учетчица!..

Кажется, так пела Елка. Пела совсем по-взрослому, и песни все взрослые. Не то чтобы там «Крутыми тропинками в горы...».

А потом она танцевала. Под колхозный оркестр.

Весь оркестр — шесть человек, и все ребята. Трое играли на обыкновенных самодельных свистульках, один стучал деревянными ложками, еще балалайка и гармонь. И все одновременно пели, но куда хуже Елки.

Елка отплясывала «Барыню».

После концерта Ленька возвращался вместе с ней. Через старый парк возле школы. Ленька волей-неволей озирался по сторонам.

Смотрят на них или нет? На деревьях вовсю горланили галки. Кружились, заслоня вечернее небо, и дико кричали. Но вокруг, на земле, вроде никого рядом не было.

— А ты правда не боишься со мной ходить? — вдруг спросила Елка.

— Почему я должен бояться? — смутился Ленька.

— А потому, что у меня папа-то сидит. И из пионеров меня исключили. Вот!

— Как — сидит?

— Так и сидит, в тюрьме.

— За что?

— За картошку...

— Как — за картошку?!

— А я знаю? На суде говорили: за покушение на общественную собственность. А какое покушение, когда он картошку людям раздал? Мороз прихватил ее, а он и раздал... А ведь

папа у меня в председателях ходил. Хозяином его все звали. Вот тебе и хозяин! Глупо, правда?

— Наверно, — согласился Ленька.

Еще через минуту он вспомнил:

— А почему ты говоришь: из пионеров исключили! Ты же носишь галстук!

Елка и правда все время ходила с пионерским галстуком. И сейчас, летом, когда галстуки никто из ребят не носил.

— И исключили! Даже галстук при всех на сборе сняли, — зло сказала Елка. — А я все равно ношу! Сама сшила себе и ношу! Пусть кто попробует отнять еще! И в комсомол буду вступать. Думаешь, не примут? Примут! Если хочешь знать, я даже Сталину об этом написала. И про папу. А он разберется! Вот!

...Иногда Ленька не видел ее по полдня. То сама прибежала к ним в избу чуть свет, то ждала на улице, у палисадника, а тут Ленька выходил — нет ее. Странно!

Вот и сейчас вышел — нет.

Бабушка оказалась рядом.

— А ты пойди поищи ее...

— Кого, баб? — хмуро спросил Ленька, делая вид, что не понял.

— Да подружку свою, Елочку, — простодушно пояснила бабушка. — Ведь она хорошая у нас, Елочка. Не грех с ней дружить. Я смотрю порой на вас и радуюсь. Елочка — она такая, плохому тебя не научит... Трудолюбивая опять же...

— Я и не думал о ней вовсе, — пробурчал Ленька. — Я ребят просто жду...

— Ну, как знаешь, Ленек, — согласилась бабушка. — Смотри, сам большой. Я в бригаду побегу...

Ленькина бабушка, Александра Федоровна, как величали ее все в деревне, работала в колхозе. И, говорили, не хуже молодых. По трудодням многих обгоняла. Впрочем, она не была старой. Пятьдесят два — разве это возраст! Пожалуй, только для Леньки она была старой. И лет в четыре раза больше, чем ему, и просто — бабушка...

Жила бабушка одна. Ленька знал, что из всех ее детей остались двое: отец Ленькин да еще бабушкина дочь, тетя Наташа, которая сейчас во Владивостоке вместе с мужем живет. Он у нее моряк-пограничник. Ленька его по фотографиям знал. А дом у бабушки ладный, просторный, чистый. И дранкой крыт. Стоит на самом краю деревни, у ельника. Там, за ельником, как раз и река Нара. И мост через нее. Хочешь — с левого берега нырять, хочешь — с правого. Только, пожалуй, с левого лучше: он круче да и глубже там...

Сережки — деревушка небольшая: пятьдесят дворов всего. Может, чуть больше. Избы разные: под соломкой, и под дранкой, как у бабушки, и, совсем редко, крытые железом. Школа и клуб каменные, с виду красивые. Это и есть бывшая помещичья усадьба. Еще церковь, где зерновой склад помещался. А в общем-то, деревня как деревня, каких много.

Когда Елки не было, Ленька и впрямь не искал ее, а болтался с ребятами. По лесам, где было неспорот земляники, и по полям, где рос горох. Свежий, сладкий горох — объедение! Если бы живот от него не болел!..

На Наре тоже ничего, конечно, когда бабушка не замечала. Иногда по садам лазал, хотя их и не много в Сережках. Гоняли с ребятами лошадей на водопой. Возили солому на скотный двор. Собирали голубиные яйца на колокольне церкви. Мастерили капканы на кротов и ставили их по вечерам на кладбище — самом кротином месте. Многие новые Ленькины приятели зарабатывали на кротовых шкурках немалые деньги в райзаготконторе.

Однажды к обеду Ленька с ребятами пригнали лошадей после водопоя. В конюшне он неожиданно столкнулся с Елкой. Раскрасневшаяся, растрепанная, она толкала перед собой тачку с навозом.

— Ой, ты? — Она, кажется, страшно удивилась и еще больше покраснела. — А я вот... Знаешь, трудодни приходится... Мама...

Ленька взял у нее из рук тачку.

— А ну дай! Куда? Везти куда?

Она показала.

— Да не надо... Я сама!

Ленька отогнал тачку за угол конюшни. Перевернул, опорожнил. Теперь назад в конюшню.

Елка помогала ему грузить. Потом семенила вслед за ним и все повторяла на ходу:

— Да хватит же! Хватит! Правда, я сама могу. Я привыкла. Вот!

А сама, кажется, была очень довольна.

Когда Ленька с независимым видом уходил из конюшни, мальчишки ждали его.

— Прямо и не поймешь, — сказал один из них, рыжий Колька, — кто из вас у кого на прицепе...

— На каком прицепе? — не понял Ленька.

— Да вся деревня говорит, что ты у Елки на прицепе, — пояснил рыжий. — А сейчас вот поглядели... Может, наоборот...

В конце лета Сережки провожали парней в РККА, то есть в Красную Армию. Вся деревня гуляла несколько дней подряд. В клубе был концерт, и Елка опять танцевала и пела, только другое:

Мой миленок ненаглядный
Идет в армию служить,
Пусть его скорей обучат,
Как любовью дорожить...

Ему летчиком быть,
Пулеметчиком быть,
Ну, а лучше быть связистом,
Чтоб меня не позабыть...

После концерта веселье пошло по избам.

Ленька завидовал бритоголовым парням, уходящим в армию. Ему этого дня еще ждать и ждать! Больше пяти лет ждать!

А пять лет — целая вечность! И вообще так вся жизнь пройдет!..

Елка говорила:

— А почему девчонок в РККА не берут? Вот скажи мне: почему? Анку-пулеметчицу брали? Брали! А «Мы из Кронштадта» помнишь? Ведь брали! А сейчас? Разве это справедливо? А-а? Справедливо? В Конституции про равенство между мужчинами и женщинами записано? Записано! А где оно, это равенство? Неправильно это! Вот!

В день отъезда новобранцев Сережки как-то погрустнели. Играли гармошки, звенели песни, улыбались парни под хмельком, но уже не так, как в прежние дни. И были слезы. Много-много слез, непонятных Леньке.

Кто-то, как назло, пустил еще слух, что началась война: мол, немцы напали на Польшу. Ну, а коль скоро война у соседей, так и нам нечего добра ждать.

Машины с призывниками уже тарахтели моторами, когда в толпу провожающих ворвалась Елка.

— Враки! — закричала она. — Про войну все враки! Я в райком из правления звонила. Никакие немцы не нападали ни на каких поляков! Враки все это!

Люди чуть успокоились. Повеселели. Ну, раз нет войны...

И ее не было. Еще несколько дней не было. До первого сентября не было.

Первого сентября уже в Москве, в школе, Ленька узнал: сегодня Германия напала на Польшу...

Рядом с их домом был овраг, превращенный в свалку.

Ель и береза как раз стояли у края этого оврага. Одинаково длинные, но и одинаково непохожие друг на дружку, стояли рядышком, словно росли из одного корня. Темно-зеленая

крона ели будто специально оттеняла тонкий, белый с крапинками ствол березы, ее голую вершинку с ветками-паутинками. Вершинка покачивалась мерно-мерно — взад-вперед, взад-вперед, — и чудом уцелевшие к концу октября на одной из веток скрюченные бурые листья косой развевались на ветру.

И слева, и справа, и впереди, на глубине оврага, по соседству с кучами блестящего консервными банками и битым стеклом мусора, тоже росли ели и березы. Их было много, почти целый лес — темно-зеленых, и посветлее, и побурее елей и тонких, худых березок, — и все же они были не такие, как эти, на краю оврага. Уж очень красиво стояли эти два разных дерева рядом!

А когда наступали сумерки, казалось, еще ближе смыкались их стволы. И хвоя четче выступала на фоне сухой травы, длинных, тощих палок сорняков и кустарников, и белый ствол березы ярче выделялся в сером предвечернем осеннем небе.

Когда шел дождь, ель и береза выглядели не так, как всегда. Они чернели. Вместо темно-зеленого и белого откровенно черное и серое. И небо такое же.

— Что ты все время у окна торчишь? Или ждешь кого?

Ленька вздрогнул от слов матери.

— Никого я не жду! Почему?

Он и в самом деле никого не ждал. Не мог ждать.

Но вот уже много-много дней после возвращения из деревни он смотрел на эту ель и на эту березу. Кажется, прежде он их даже не видел, не замечал. И были ли они? Наверное, были... А там, в Сережках, не было таких? Ленька старался вспомнить, но не мог.

Вспомнилось другое. И даже слова: «Если меня боишься, обязательно возьмем!.. Ты что, простудился? Будь здоров!.. А я все равно ношу! Сама сшила себе и ношу!.. И в комсомол буду вступать. Думаешь, не примут? Примут!.. Вот!..»

Еще совсем недавно, до лета, Ленька терпеть не мог всяких там книжек о природе. Да и в других-то, не о природе, там, где про леса какие или речки было написано, всегда пропускал эти места.

А теперь обзавелся Тургеневым, Пришвиным и Соколовым-Микитовым. Хотел еще купить Бианки, но слишком уж детские: картинок много, и все большие...

Смешно, наверно? Наверно...

— Мам! А на будущий год я поеду туда?

— Куда? — переспросила мать, занятая своими делами.

— Ну, к бабушке, в деревню... В Сережки эти...

— А хотел в лагерь... Значит, понравилось? Я очень, очень рада, — сказала мать. — Конечно, поедешь. И бабушка тобой довольна...

Слава бабушке, которая, оказывается, довольна своим внуком! Слава матери, маме, которая не пустила сына в пионерский лагерь! И воспалению легких слава!

Его звали по-всякому. В школе обычно по фамилии.

«Пушкарев, ты опять разговариваешь?», «Пушкарев, о чем я сейчас рассказывала?», «Пушкарев, к доске!», «Пушкарев, сколько раз тебя нужно предупреждать, чтобы ты не забывал дома учебник?», «Пушкарев...», «Пушкарев...», «Пушкарев...»

Даже надоело!

Во дворе его звали проще — Ленькой. Мать и отец чаще говорили: «Лень...» Бабушка ласково: «Ленек...»

— Ты приехал! Я так рада! Правда, Леонид!

Только она звала его серьезно, по-взрослому — Леонидом.

Леньке нравилось это.

И все же сейчас, когда он через год вновь появился в Сережках, ему почему-то хотелось задеть ее гордое самолюбие.

Ленька долго выбирал подходящий момент.

Наконец, кажется, выбрал:

— А помнишь, ты говорила про войну с Польшей — «враки»? Вот и вышли тебе

«враки»! И не только с Польшей... А с белофиннами? У нас знаешь у скольких ребят отцы на финской были! И в Западной Украине, Западной Белоруссии.

Елка как-то сразу посерьезнела. И спорить почему-то не стала, как обычно.

Сказала вдруг грустно:

— А я просто дурой была! Вот! Правда, Леонид? Это плохо, наверно, но я сейчас почему-то тоже верю... Или предчувствую, как это говорят, — как те женщины, которые прошлым летом плакали. Помнишь? Когда в армию провожали. Помнишь, что они говорили? Я все чаще их вспоминаю. Что делается всюду, посмотри! А Гитлер этот прет и прет!..

Леньке показалось, что он зря обидел своими словами Елку. Она, кажется, куда умнее и серьезнее его.

— О Гитлере ты не беспокойся, — сказал он. — У нас же с ним договор о ненападении... И вообще никакой войны не будет! Что ты! Какая сейчас война!..

Деревню Ленька увидел сейчас вовсе не такой, как в прошлом году. Тогда он, наверно, вообще ничего не видел. Ну, деревня и деревня, улица, избы, поля...

Оказывается, в Сережках было не так уж плохо. Единственная деревенская улица будто нарочно взбегала от оврага на косогор, к церкви, и там, дальше, последними своими избами уходила в молодой ельник. Совсем молодой. Салатного цвета елочки и сосенки, в два вершка и чуть больше, выходили прямо на самую улицу. Она здесь кончалась, а ельник только начинался. В песок, чистый, серовато-желтоватый песок, уходила дорога, и здесь же, в этом песке, росли рядками елки и сосенки. А за ними уже настоящий еловый лесок. Лес? Нет, лес — не скажешь. Именно лесок, поскольку в двухстах метрах от него, под обрывом, лежала Нара.

Ленька ходил по шоссейной булыжной дороге и по мосту за Нару. Там была почта. И писать родителям, к сожалению, надо. Он обещал. И приходилось писать раз в неделю. Когда на почту ходил, видел при въезде на мост знак «5 т» и бесчисленных рыбаков вдоль реки...

Леса со всех сторон окружали Сережки. С этой, со стороны Нары, — ельник. Ели и сосны, молодые и старые, они звенели в сухие летние дни, напоминая удивительную, незнакомую музыку, и скрипели, трещали при ветреной погоде, как бы противясь ей.

Каждый лес вокруг Сережек не был похож на другой. За картофельным полем на многие километры тянулся березняк, изредка перебиваемый орешником. За бывшей помещичьей усадьбой, где были теперь школа и клуб, — дубовая роща, а левее, за прудом, — осинник.

Вдоль самого пруда буйно разрослись ветлы. Издали они напоминали странных, почти живых существ: вроде какой-то смешной скульптор специально выставил здесь напоказ всем необычайные, огромные фигуры. А вблизи, стоило подойти к пруду, они были обычными ветлами — старыми, кургузыми, по которым так удобно лазать.

Ветлы опускали свои раскидистые ветви прямо в воду, которая цвела зеленью, дружно квакала лягушками, мельтешила жуками — водолюбам, лужанкам, прудовикам — и какой-то быстроходной насекомой мелочью. Эта мелочь бороздила поверхность пруда, как конькобежцы каток.

Вокруг Сережек лежали поля. Слева и справа. За избами и впереди изб. На возвышенностях и в низинах. Упирающиеся в леса и уходящие в бесконечность к горизонту.

Казалось, и прошлым летом Ленька видел эти поля. Видел? Не видел. Смешно, наверно? Наверно...

Рожь, пшеница, клевер, горох, картофель, свекла, капуста... Каждое поле имело свой особый цвет, вкус и запах. И цвет этих полей на дню без конца менялся: утром — один, вечером — другой, в полдень — третий, в ясную погоду — четвертый, в грозу — пятый, под хмурым небом — шестой, на ярком закате...

Но больше всех Леньке нравилось одно поле. Оно вплотную подходило к бабушкиному огороду, что находился на задах их избы.

Поначалу Ленька даже не знал, что это за поле, что на нем растет. Он просто видел в поле среди прочей растительности около десятка ярких подсолнухов. А что вокруг них?

— Это вика, Ленек, вика, — объясняла бабушка. — Смотри, размахнулась!

Говоря по совести, Ленька не знал, что такое вика и для чего она нужна.

Но такие же подсолнухи, как на том поле, росли в палисаднике. Их было два, и они будто нарочно забрались сюда, к бабушкиной избе, с того самого поля.

Ленька слышал или читал, что подсолнухи поворачиваются головой в сторону солнца. Сейчас он сам видел это. И когда порой ему казалось, что тот или иной подсолнух не слишком быстро поворачивается к солнцу, он почему-то волновался и пытался сам помочь подсолнуху чуть повернуться...

Рядом с подсолнухами в бабушкином палисаднике росли два молодых дубка. Листьев на них было мало, да и не удивительно: земля вокруг высохла.

Дождей нет и нет!

Каждую первую попавшуюся свободную минуту Ленька брал ведро, набирал в колодце воды и поливал их. И дубки и подсолнухи.

За этим занятием и застала его раз Елка.

— Ты что, Леонид? Зачем же по жаре поливать? Это, когда солнышко спадет, можно. А так они у тебя погибнут...

Ленька растерянно стоял с неопорожненным ведром перед ней. Она поняла, выхватила у него ведро и выплеснула воду под бузину.

— А вот ей все равно, — сказала. — Ей как-никак можно.

Потом помолчала, улыбнулась.

— А ты, Леонид, очень изменился с прошлого года. Совсем взрослым стал...

Над деревней часто кружили чайки.

Леньке не очень нравились эти птицы. Большие, красивые, но какие-то холодные, недобрые, хищные...

Откуда они? Или с Нары прилетают? И почему все время вертятся над прудом?

Пруд в Сережках большой. Некоторые его даже озером называют. Прямо рядом со школой, в бывшем помещичьем парке.

Посередине пруда плавневый островок. Он зарос белокрыльником, хвощом, чередой. По берегам пруда камыши и роголист. Не пруд, а джунгли.

Когда Елки не было, Ленька часто проводил время здесь. Не один, конечно, с ребятами. Ловил карасей.

Но вот эти чайки...

Только удочку забросишь, а они уже тут как тут. Так и крутятся над водой, будто норовят перехватить пойманное. И еще — неприятно кричат.

Ребята говорили, что там дальше, в плавнях, чайки выводят своих птенцов. А потом, как те подрастут, бросают их и улетают куда глаза глядят. И молодые чайки, только освоятся, научатся корм себе добывать, улетают кочевать.

«И верно, противные птицы!» — думал про себя Ленька.

Даже как-то Елке об этом сказал с видом знатока, когда в клуб шли мимо пруда.

— Противные, говоришь? Улетают? — переспросила Елка. — Всем бы такими противными быть! А знаешь, что они на ночь сюда, на пруд, возвращаются? Не знаешь! А осенью вот улетят в чужие края, так потом, думаешь, как? Сюда вернутся гнездоваться! Детей воспитывать на родном месте! А ты говоришь — противные!

— Купаться пойдем? — спросила Елка.

Вопрос был обычный, если бы его задал любой из сережкинских мальчишек, и Ленька сразу же ответил бы на него: «Конечно!»

Но тут — Елка. С ней он ни разу не ходил купаться ни прошлым летом, ни сейчас. И вообще с девчонками не купался.

— Пойдем, — промямлил Ленька, понимая, что молчать дальше нельзя.

Они пришли на крутой берег Нары. Здесь Ленька купался и прежде. Елка отбежала

куда-то в сторону, быстро переоделась, вернулась, спросила:

— Ты что, не будешь купаться?

— Почему не буду? — Ленька начал поспешно раздеваться. И черт его дернул не сделать это раньше, пока Елки не было!

Кажется, Елка не понимала Ленькиного смущения.

— А хороша у нас Нара, правда? — спросила она. И тут же добавила: — А ведь сюда Наполеон доходил. Ты историю любишь? (Ленька не успел ответить, поскольку поправлял в этот момент трусы.) Я — очень! Помнишь, Кутузов, после того как Москву сдал, докладывал царю? Я наизусть помню. Вот!.. — Елка встала в торжественную позу. — «Вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России... Хотя не отвергаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но, не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и, обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию...»

Ленька даже опешил.

— И откуда ты это знаешь?

— Как — откуда? В книжке одной прочитала.

— И выучила?

— Специально не учила. А так запомнила...

— Здорово!

Ленька в школе даже стихи-то с трудом заучивал наизусть, а здесь целое письмо Кутузова...

— А потом, после этого письма, — продолжала Елка, — Кутузов и впрямь перехитрил Наполеона. Пошел по Рязанской дороге и вдруг хитро — назад, на Калужскую дорогу. Про Тарутино помнишь?

— Помню, — неуверенно сказал Ленька.

— Вот под Тарутином и дал Кутузов тогда бой Наполеону. «...Село Тарутино, — писал он после боя, — ознаменовано было славною победою русского войска над неприятелем. Отныне имя его должно сиять в наших летописях наряду с Полтавою, а река Нара будет для нас так же знаменита, как и Непрядва, на берегах которой погибли бесчисленные ополчения Мамая...» Вот!

— И это ты знаешь? — поразился Ленька.

Потом они купались. Чтобы как-то восполнить перед Елкой свои пробелы в исторической науке, Ленька старался показать класс плавания и ныряния. Плавала Елка тоже неплохо, а вот нырять...

— Ой, ой, Леонид, прошу тебя, не надо так! Ты же захлебнешься! Зачем так долго! — восклицала она, когда Ленька появлялся из-под воды, еле дышащий и безумно счастливый. — А потом, вдруг там, на дне, каракатицы какие-нибудь сидят! Как схватят! — Елка уже откровенно смеялась. — Или еще лучше: француз какой-нибудь с той войны, Отечественной? А-а?!

Река Нара. Речка Нара. Речушка Нара. Сто семьдесят три километра длиной. Левый приток Оки.

Что Ленька знал о Наре?

Бежит небольшая извилистая речка. Заросли тростника и осоки, а рядом луга, свежие, ярко-зеленые, пестреющие цветами.

Видно, весной разливается речка и доходит аж до того леса с подмытыми берегами. Лес — ельник с дубом. И еще орешник, осока в траве, яркие колокольчики, и земляника, и листья ландыша. По соседству мхи и лишайники. Целые ковровые острова!

Чуть дальше по реке — бузина, ивняк, шиповник. Ветви кустарников свисают с

крутых, подмытых берегов прямо в воду. Тут, в воде, и осока, и белая кувшинка, и желтая кубышка, и хвощ. Речка как бы огибает бурно растущую зелень и жметя вправо, к низкому берегу. Точит-точит Нара правый берег, и здесь уже намыт песчаный пляж. Купайся хоть до одури!

Или на левый берег взгляни. Да что там — взгляни! Неширока речка Нара, перебирайся вплавь, а местами и вброд, выходи на крутой песчаный берег к сосновому бору. Минуешь песок, усеянный молодыми побегами типчака, вдохнешь сосновый воздух, пахнущий вперемешку и жимолостью, и крушиной, и черемухой, и смотри под ноги — собирай и клади в рот все, что душе угодно. Тут и землянику переспелую найдешь, и чернику, и костянику, и голубику, и ежевику, а подальше и малинка попадает. Крапива, правда, вокруг малины, но сейчас крапива еще не разрослась — и отодвинуть можно рукавом, и ногой прижать...

Дальше по Наре пойдешь и березовые леса встретишь. Самые что ни на есть грибные места. Конечно, когда грибам время придет. В этом же году пока сухо. Даже сыроежки на корню сохнут, и поганки еле-еле пробивают сухую землю. Зато на сырых местах, уже сейчас видно, клюквы и морошки будет немало. Вот только выйдет срок...

Под ногами пушистые метелки келерии и бархатистая лапчатка. Много ее в это лето! А на полянках на лугах таволга и вязель, в кустарниках — вечерница и живокость. И все живет, цветет, буйствует, радуется глаз...

Нет, Ленка ничего не знал о Наре и о ее берегах! И не только потому, что не слышал прежде о боях с Наполеоном на Наре. И о письме Кутузова царю, и о словах его после победы под Тарутином. Не только поэтому...

Сережки, как оказалось, тоже находятся при Наре. Женщины идут на берега Нары полоскать белье. Мужчины в каждую свободную минуту — на рыбалку. Мальчишки и девчонки — на купание. А старухи, на что уж Александра Федоровна, бабушка, и то по вечерам вылезают на берег Нары: сидят, смотрят на реку, вздыхают почему-то и смотрят вдаль, туда, за реку, думают, размышляют о чем-то своем, давнем...

Нет, не знал Ленка прежде Нары.

— Купаться пойдем? — спросил он как-то Елку.

— Купаться?

— Да, на Нару, — решительно подтвердил Ленка.

— Пойдем, Леонид, — согласилась Елка. — Я только тогда сбегая переоденусь...

И опять пели соловьи над Сережками. И гремели патефоны. И весело маячили белые свежие столбы, которые скоро принесут сюда свет и радио. И трещал движок возле переполненного клуба, где после доклада о международном положении шел концерт, и в нем, конечно, выступала Елка.

— Баб! А ты что там, в этой своей бригаде, делаешь?

Каждое утро, чуть свет, уходила Александра Федоровна из дому; днем, в обед, забежала в избу в лучшем случае на полчаса, чтобы покормить Ленку, и опять исчезала до вечера.

Что делает бабушка в бригаде, Ленка, в общем-то, знал. Вопрос его имел скорее другой, неведомый бабушке смысл...

Александра Федоровна сначала не поняла.

— Как что, Ленек? — переспросила она. — Как все. Куда колхоз пошлет — на прополку ли, на уборку, на стройку какую, туда и идем. Сейчас сенокос, к примеру. В лесах косим, по оврагам. А там и клевер ждет...

Поля вокруг Сережек велики. В один край пойдешь — километров восемь будет. В другую сторону не меньше, а то и все десять. А тут еще и леса, где колхозники косили сено, и скотный двор, и конюшни, и полевой стан, и стройки всякие. Сейчас вот свиноферму строили, а в самой деревне еще и ясли...

На полях бабушку и ее бригаду Ленка почти не встречал. Не встречал, хотя каждый день тоже делал что-то с ребятами для колхоза. А иногда и теперь и с Елкой. И если прошлым летом для него все это было только забавой, развлечением, то сейчас...

Но Александра Федоровна, кажется, поняла что-то:

— А чегой-то ты, Ленек, интересуешься? Уж не в бригаду ли ко мне захотел? Не разрешу, Ленек, не разрешу! И так, знаю, все лето трудишься. Думаешь, не вижу! Да и люди говорят. Как же я маме твоей в глаза посмотрю? Она тебя на отдых прислала, а ты все в поле да в поле. И так колхозу помощь. Хватит, Ленек!..

Ни о каком колхозе Ленька сейчас не думал. Смешно, наверно? Наверно...

Смешно, но Леньке почему-то очень хотелось теперь быть похожим на Елку. На ту самую Елку, которая умела доить коров и скирдовать сено. На ту, которая полола свеклу и косила траву. На ту... В общем, на ту, какой он ее видел и знал.

— А уж если хочешь помочь, Ленек, — предложила Александра Федоровна, — то сходи завтра на базар. Как раз и день выходной, базарный. Сама бы сходила, да мы еще сено не все убрали.

Это Ленька любил. И на базар ходить, и в Москве — по магазинам. Дома мать всегда хвалила Леньку: «Ну, купил все лучше, чем я. И мясо выбрал какое! Молодец, Лень!..»

Наутро они пошли с Елкой на базар. Через молодой ельник, потом вниз, к Наре, и дальше через мост. У реки носились стрижи и бегали по песчаным отмелям деловитые трясогузки.

А в лесах — и справа от реки и слева: «сить, сить, ти-ти, ти-ти, цири-ри-ри-ри, ци-ри, терр-церк, терр-церр». Это пели синицы.

И трещали сороки, и подавали свои голоса дрозды и иволги, и где-то далеко и глухо куковала кукушка.

Уже на обратном пути, проходя с покупками по скрипучему деревянному мосту, Ленька вдруг заметил прямо перед собой на крутом обрыве ель и березу. Они были точно такие же, как у их дома в Москве, и так же росли рядом, словно из одного корня. Только ель посветлее и береза покрыта живыми, шевелящимися листьями. Ну конечно, он вспомнил их теперь! Он видел их в прошлом году...

Ленька даже присвистнул от неожиданной радости, саданул ногой по какой-то щепке, и она полетела за перила моста, крутясь, в воду.

— Ты что, Леонид? — серьезно спросила Елка.

Он ухмыльнулся.

— Да ничего! Просто нравится здесь!

— А я не понимаю все-таки, зачем ты купил эту утку? — невзначай спросила Елка.

— Утку? — не понял Ленька. — Бабушка просила, и купил. Для еды. А что?

— А кто ее резать будет?

— Как — кто? Или бабушка, или я, — не задумываясь, ответил Ленька. — А кто же еще? Я могу!

— А я никак не могу, — призналась Елка. — И никогда бы не смогла. Наверно, это глупо? Да?

Потом сказала другое:

— А знаешь что? Давай как-нибудь на Нарские пруды съездим? Только лошадь надо в колхозе взять. А то далеко...

Ленька не слышал прежде о Нарских прудах.

— Знаешь, как там! Во! — продолжала Елка. — И недалеко! Часа четыре с половиной... В общем, надо на весь день туда ехать.

— Что ж, давай съездим, — согласился Ленька. — А когда?

Лето, как всегда, проходило быстро. Казалось, еще вчера по деревне летел тополиный пух и пахло свежескошенным сеном и земляникой, а вот уже и одуванчики отцвели, и васильки у дорог поблекли, и все чаще в полях слышался шум тракторов: началась уборка. И цвета — земли, лугов и лесов — были теперь другие, и птицы пели иначе...

В один из начальных августовских выходных дней к Леньке приехали мать и отец. У отца были свежие газеты, и Ленька сразу же уткнулся в них, попутно отвечая на вопросы родителей:

— Да, хорошо!.. Ага, хорошо!.. Что?.. Да, все хорошо... Сплю? Хорошо сплю!..

Александра Федоровна довольно поддакивала. Что-что, а у нее к внуку никаких

претензий. Наоборот! И по дому помогает, и слушается, и в колхозе не чужой человек — люди хвалят... Все б такие дети были!..

Ленька не слушал разговора старших.

Вдруг сорвался с места:

— Пап! Можно, я на минутку? Мам! Мне очень нужно! Я сейчас вернусь...

Родители и бабушка молча переглянулись.

— Ну конечно, Ленек, сбегай, сбегай, — первая сказала бабушка. — Пусть ходит, — добавила она уже родителям. — Всякие дела могут быть у человека. Мало ли что! Да возвращайся скорей. Праздник у нас нонче, как-никак праздник.

Ленька схватил одну из газет и выскочил из избы.

Елку он нигде не мог найти, хотя и обегал полсела. Наконец, решившись, постучал в ее дом. Постучал впервые: он никогда не решался зайти к ней, даже когда она звала — отговаривался.

— Ел... Елочку можно? — спросил он, когда ему открыла ее мать. И сам не понял, почему Елку назвал Елочкой. От растерянности, что ли?..

— Заходи, Леня, заходи, — просто сказала Елкина мать.

Она знала Леньку и прежде, не раз встречала и в поле и на улице. Но в доме никогда, и потому, наверно, Ленька побаивался ее.

Но сейчас увидел, услышал, и все оказалось проще. Она была, пожалуй, такая, как и его мать и как его бабушка, — чуть старше матери, чуть моложе бабушки. И лицо простое, и улыбка, и слова:

— Заходи, Леня, заходи...

У Леньки отлегло от сердца, особенно когда он увидел Елку.

— Вот слушай, — бодро сказал Ленька, развернув газету. — Слушай! Так вот: «Закон о принятии Эстонской Советской Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических Республик... Шестого августа тысяча девятьсот сорокового года...» Значит, ты, Елка, теперь не иностранка?

Елка молчала. Улыбалась и молчала.

— А у нас тоже, Леонид, радость, — наконец сказала она. — Папу освобождают. Вот письмо прислал. Пишет, что теперь съездим в Таллин, на родину. На будущий год, пишет, обязательно съездим...

Елки-палки — лес густой,
А ты, Леня, холостой...

Ленька не понял, хотя она впервые назвала его не Леонидом, как прежде, а Леней.

Они шли по сжатому ржаному полю. Высоко в небе кружились жаворонки. И носились стаи воробьев. И парил выше всех ястреб-перепелятник. Было душно и знойно, как перед грозой.

Ленька не знал, что ответить.

Сказал просто так:

— Конечно, холостой. Ну и что?

— Так просто. Может, я тоже никогда замуж не выйду. Вот!

— Почему? — спросил Ленька, чтобы не молчать.

— Да меня все в школе мальчишкой зовут...

Потом они шли молча. Елка без конца нагибалась, подбирала колоски ржи. Набрала целый букет, остановилась.

— Хочешь, я тебя поцелую?

Ленька опешил.

Покраснел как рак.

Она подпрыгнула и неловко чмокнула его не то в щеку, не то в нос.

— Зачем? — глупо спросил Ленька.

— Так просто, Леонид! Вот! Захотелось почему-то. И все! — И она убежала. На бегу

обернулась. — Может, встретимся!..

Нет, оказывается, Ленька никогда прежде не знал, какая она. А она была и елкой и березкой сразу. Как те у их дома в Москве. Как те на берегу Нары у моста. Непохожие и одинаковые. И растущие как бы от одного корня.

Так больше они ничего и не сказали друг другу. И на Нарские пруды не съездили.

Наутро Елка с матерью уехала в Москву. Об этом Ленька узнал, когда их уже не было. И еще узнал: они поехали встречать Елкиного отца.

Их не было ни завтра, ни через два дня, ни через неделю. Младшие Елкины братья и сестренки, оставшиеся жить дома под наблюдением соседки, ничего не знали.

— Как встретят, так и вернутся, — спокойно сказала Леньке старушка соседка. — Как же им без отца-то возвращаться? Не резон!

Ленька торопился. Дома ждали. Отец уговорил бабушку поехать к ним домой в Москву погостить. Отдохнуть. Александра Федоровна долго упиралась, но наконец решилась.

Сегодня они уезжали.

— Не горюй, Ленек, — вздыхала бабушка, глядя на недовольное Ленькино лицо. — Лето настанет — и опять приедешь. Здесь тебе вольготно...

Лето настало. Необычное лето следующего года. Радиорепродукторы, заработавшие в Сережках в канун воскресенья 22 июня, сообщили наутро то, что сообщали во всех других деревнях и городах...

— Уж лучше б и не проводили этого проклятущего радио! — говорили в тот день в Сережках.

В Москве, в Ленькином доме, где радио было давно, молчали. Молчали, ибо что скажешь, если война...

Сначала было долгое, нестерпимо долгое и тяжелое, как эти первые военные летние месяцы, ожидание: когда, когда же наконец их остановят?

Ни работа с утра до вечера и до седьмого пота в колхозе, где теперь остались почти одни бабы и ребята да еще такие вот, как она, — ни дети, ни взрослые, ни то ни се не спасало от этого беспокойного вопроса. Ни сводки Совинформбюро. Ни слухи.

Июнь. Июль. Август.

Немцы шли и шли на восток.

Потом, в сентябре, все строили оборонительные рубежи под Малоярославцем. И под Наро-Фоминском. А затем ближе и ближе к дому.

Елка копала тяжелую землю и опять думала: когда их остановят?..

Так думали все.

С наступлением октября все явственнее запылали зарницы там, за Нарой. По ночам воздух тяжело гудел от немецких самолетов, летевших сразу по несколько сот штук на Москву. В окрестных лесах ухали зенитки. Трассирующие очереди и прожекторы уходили в холодное осеннее небо. А мимо Сережек все шли и шли наши войска, пешие и конные, на грузовиках и мотоциклах, и все туда же — через мост за Нару.

Навстречу им из-за реки двигался обратный поток — санитарные машины и телеги с ранеными. Поток этот рос с каждым часом, с каждым днем.

Вроде Сережки вовсе замерли. Их уже доставала не только немецкая артиллерия, а и минометы. Даже малютки — пятидесятимиллиметровые минометики. «Юнкерсы», не долетавшие до Москвы, разгружались тут же, по соседству. Первым взлетел на воздух клуб. Потом школа. Вот и церковь — зерновой склад...

Группа немецких армий «Центр» — почти семьдесят пять дивизий — вела наступление на Москву. Гитлер — в который уже раз — требовал от них добиться решительного успеха на Московском направлении. Миновали июль, август, сентябрь.

«Сегодня начинается последняя, решающая битва этого года», — писал Гитлер в обращении к войскам 2 октября.

Группа «Центр» получила новое пополнение, новую технику. Ей была придана тысяча самолетов, в том числе пятьсот бомбардировщиков.

3 октября немцы ворвались в Орел, 5 октября — в Юхнов и Мосальск, 12 октября — в Брянск, 14 октября — в Калинин, 16 октября — в Боровск, 18 октября — в Малоярославец. В двадцатых числах пал Волоколамск...

21 октября части 258-й немецкой пехотной дивизии вступили в Наро-Фоминск. Вступили, вышли к реке Наре...

Река Нара. Речка Нара. Речушка Нара.

На берегах Нары стали 33-я и 43-я наши армии. Стали насмерть.

Среди них — 1-я гвардейская Московская мотострелковая (Пролетарская) дивизия и 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы... Стали насмерть танкисты и саперы, артиллеристы и минометчики, автоматчики и связисты, кавалеристы и пехотинцы, обозники и санитары. Все занимали оборону. Все...

Дождь. Дождь. Он лил, кажется, трое суток подряд. Мелкий, промозглый, удручающий. Над полупустынными Сережками висел туман. Ни зги не видно. Только слышны приглушенная речь в прибрежном ельнике, и ржание лошадей, и вкусные запахи походных солдатских кухонь. Там скапливаются наши войска.

Строят землянки, огневые позиции, ходы сообщения вдоль Нары.

Может, здесь их остановят? Здесь, на Наре? Может?.. Должны!

Как раз в этот дождь и туман прощался Елкин отец. На нем старый полушубок, ватные штаны, зимняя шапка. На груди — автомат.

Отец сначала поцеловал младших.

Поцеловал жену.

— Береги себя, Рикс, — сказала она.

Елку он взял за плечо и вывел из землянки, где они теперь жили.

На улице сказал:

— Энда, во-первых, смотри за нашими. Очень прошу! А во-вторых, ты мне будешь нужна. Учти. Тебе сообщат.

Теперь он поцеловал и ее.

— Ну, бывай. И не кисни смотри! Я пошел.

Все знали, куда он уходит.

Киснуть Елке было некогда. Три дня и три ночи она перевязывала раненых и хоронила умерших от ран. Немцы вышли на другой берег Нары. Бои не прекращались.

На четвертую ночь ее позвали. И она пошла туда, к отцу.

Два документа.

...В целях обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в городе Москве и прилегающих к городу районах осадное положение...

В Ленинградский райвоенкомат гор. Москвы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу немедленно призвать меня в ряды, РККА или направить в тыл врага, чтобы защищать Москву. Я — боец добровольческого рабочего отряда. Умею стрелять. Комсомолец. Из 50 возможных выбиваю 30. Взысканий не имею. Готов отдать жизнь за Родину, за Москву!

Убедительно прошу не отказать в моей просьбе.

Л. ПУШКАРЕВ

20 октября 1941 г.

Молчаливая, замкнутая, словно ее подменили. Ни улыбки. Ни бойкости. И внешне неузнаваема: чумазое лицо, платок, надвинутый на лоб, драное пальтишко, высокие резиновые сапоги. Руки красные, обветренные, в пупырышках. Это от воды.

Елка ли это? Елка. Елочка. Елка-палка... Она ли? Она.

Она видела, как длинные ночи и короткие дни Нара полыхала в огне. Полыхала с правого берега. Полыхала с левого. Земля вздрагивала от взрывов бомб. Вздрагивала от разрывов снарядов и мин. Глухие ружейные выстрелы с двух берегов сменялись автоматной и пулеметной бранью. И опять наступала недолгая тишина, когда по незамерзшей реке мирноплыли сбитые войной хвойные ветки, немецкие каски и русские ушанки, а порой и шла кровь...

И еще она понимала: бои идут трудные, куда тяжелей тех, которые были две недели назад, когда она вытаскивала из-под огня раненых. Сейчас, пожалуй, ей не справиться бы... Слишком много...

Но теперь у Елки было другое дело. Очень маленькое и очень простое. Свое дело. Она ходила туда, через Нару, на чужой, ныне уже немецкий берег, и потом возвращалась обратно. Там, на другом берегу, в десяти километрах Никольский лес, где находился отец со своим отрядом. Здесь политрук Савенков. Все, что говорил Савенков, она передавала отцу. Все, что говорил отец, — Савенкову.

И вот сейчас политрук спрашивает ее о другом:

— В Наро-Фоминске тебе доводилось быть?

— Два раза тогда еще, до войны, — сказала Елка.

— Сходишь, если нужно будет?

От Сережек до Наро-Фоминска не один десяток километров. До войны они ездили туда с матерью на лошади. Елка вспоминала, прикидывала: не меньше пяти-шести часов. А пешком...

— Туда же далеко, — наконец сказала она Савенкову.

— Тебя отвезут...

— Тогда схожу...

Выпал снег.

Они долго ехали с Савенковым по грязным дорогам на побитой, кое-как перекрашенной в белый цвет «эмке», пока наконец не попали в расположение танкистов.

— Посиди, — сказал политрук, когда машина остановилась.

Он долго искал кого-то, потом вернулся с батальонным комиссаром.

— Идем, идем! — Батальонный комиссар почему-то прижал к себе Елку, когда она вылезла из машины, да так и не отпускал всю дорогу, пока они не вошли в довольно просторную землянку штаба. — А теперь ешь — и спать! Спать немедленно!

Елка пробовала отнекиваться, но ничего не вышло.

— Слушай старших, — весело посоветовал Савенков. — А я поеду. Увидимся.

Они попрощались.

Политрук уехал, а Елка долго хлебала из котелка густой пшеничный суп с американской тушенкой. Есть не хотелось, но батальонный комиссар сидел рядом и без конца повторял:

— Лопай! Лопай!

Что было потом, Елка не помнила. Проснулась, когда на улице уже было темно. То ли от скрипа двери, то ли от шагов проснулась.

— Выспалась? Ну и молодец! — произнес батальонный комиссар. — А теперь познакомься. — И он показал на стоявшего рядом военного в замасленном комбинезоне и танкистском шлеме. — Лейтенант Хетагуров. Вот как раз у нас с ним и есть одна мысль...

Под прикрытием темноты Елка перешла Нару в стороне от города. До рассвета, как и было сказано, просидела в Елагином овраге. Потом пошла по улицам, знакомым по давним воспоминаниям и незнакомым, разбитым, сожженным, усеянным кирпичом и стеклом, горелыми досками и вышибленными рамами. Пошла по больным улицам больного города.

Он не дымил трубами своей текстильной фабрики, не пестрел яркими красками базара, не манил витринами магазинов — все это было тогда, в детстве...

На стенах сохранившихся домов и на столбах висели объявления. Белая бумага. Немецкие слова, затем русские. И на обороте сначала русские, потом немецкие:

«Всем жителям города предписывается в течение восьми часов зарегистрироваться...»

«24 октября за пособничество партизанам расстреляны: Иванов Николай, Стрехов Петр, Васильковская Мария, Щебетков Семен. Немецкое командование предупреждает, что и впредь все, кто оказывает содействие партизанам...»

«Германское командование извещает население, что в городе вводится комендантский час с 8 часов вечера до 8 часов утра. Все, кто появится на улицах в указанное время, будут без предупреждения...»

Елку никто не останавливал. Такие же, как она, люди нет-нет да и мелькали на улицах. И ребята. Кто с ведром, кто с охапкой щепок, кто просто так.

Немцы покрикивали:

— Лос, лос, шнель дурх!¹

Их было много. Всякие. Чаще хилые, с поднятыми воротниками шинелей и надвинутыми на уши пилотками. В огромных эрзац-валенках и ботинках. Холодно, что ли?

Они как раз и были нужны Елке. Вот здесь, на центральной улице. И у Дома Советов, где особенно много офицеров. И вот в этом двухэтажном доме, где остались буквы от вывески — «...дмаг». И еще — машины. Броневые с крестами и штабные. А на площади — замаскированные сеном орудия...

Елка шла и запоминала. Запоминала и шла дальше. Одна улица, другая, третья, четвертая, пятая...

И опять немецкое:

— Гей вег, руссише швайн!²

Она ускоряла шаг.

Еще улица. Еще. И вновь центральная улица, где находится штаб немецкой дивизии. Теперь, кажется, все...

А на следующий день, когда Елка уже была в своих Сережках, случилось неожиданное. Среди бела дня танк «КВ» под командой лейтенанта Хетагурова ворвался в занятый немцами Наро-Фоминск. Час и сорок минут носился он по улицам города, уничтожая орудия и пулеметные гнезда, штабы и вражескую живую силу.

Об «огненном рейде» лейтенанта Хетагурова писали газеты, говорило радио.

За «огненный рейд» советского лейтенанта командир 258-й немецкой пехотной дивизии удостоился выговора от высшего начальства...

Снег все шел и шел. Крупными мокрыми хлопьями. Шел так густо, что не успевал таять, хотя на дворе нулевая температура. На земле проглядывала совсем еще свежая травка. Зеленая, как весной. Лысынами лежала земля под елями и соснами.

Несколько дней назад, когда не было столько снега, казалось, трава давным-давно пожухла. И никто не удивлялся. Как-никак осень, ноябрь.

А тут пошел снег, лег неровными островками на лесных полянах, на пашнях, на косогорах, на деревенской улице, и оказалось, нет, не пожухла трава. Наоборот, словно пуще зазеленела. И еще зеленой стала хвоя елей, и в ложбинках, подмывая снег, побежали ручьи, оголяя по-весеннему свежую, парную землю с какими-то росточками и лепестками и совсем еще живыми еловыми ветками, сбитыми войной.

По лесам била немецкая артиллерия. При каждом выстреле и взрыве металась по лесу перепуганные птицы. Они почему-то никак не хотели покинуть знакомые места. И каждое

¹ Давай, давай, проходи скорей! (нем.)

² Убирайся отсюда, русская свинья! (нем.)

дерево, будь то ель или береза, сосна или дуб, осина или клен, бузина или куст шиповника, вздрагивало почти по-человечески — испуганно и с надеждой. С надеждой, если не было прямого попадания или слишком крупных осколков. Даже упрямые дубки, и в эту уже почти зимнюю пору никак не желавшие сбрасывать с себя сухую листву, вздрагивали...

Им, деревьям, живым деревьям, доставалось сейчас ничуть не меньше, чем людям. И если люди живут для людей, то и они, деревья, для них же! Для людей! И для земли, которая вечна! Как люди...

Елка рада была наступлению зимы. У нее особые на то причины.

Река Нара. Речка Нара. Речушка Нара. Она стала сейчас ее жизнью, ее судьбой. Нара должна наконец замерзнуть. Должна! Переходить ее вброд хуже, чем переходить по льду. Вода в Наре все равно ледяная, хотя и нет льда. А если действительно заболеешь и свалишься? Кто тогда будет ходить через Нару?

И еще эта водка. Та самая, которая пока спасает Елку. После каждого перехода Нары она с трудом опрокидывает полстакана. Это противно, хотя и нужно. Но запах! Запах! Даже когда ее, полузамерзшую, мокрую, дрожащую, растирали водкой после возвращения из Наро-Фоминска, она еле выдержала...

Скорей бы лед на Наре! Скорей бы!..

...Снег завалил их землянку в Сережках. И избу с выбитыми окнами, с полуразбитой крышей, со срезанными миной сенями. Но в избе все равно никто не жил сейчас. А землянку надо было откапывать. Два дня Елка была дома. Два дня она занималась этим, ибо снегопад не прекращался.

Заиндевели елки и сосны возле палисадника. Запорошило снегом стволы берез и осин. Снег продолжал идти, а с деревьев капало, как в весеннюю пору. То ли снег был действительно мокрый, то ли деревья с лета сохранили тепло и снег не задерживался на их ветвях. Капель, настоящая капель...

Вместе со снегом в последние дни на Сережки все чаще опускались немецкие листовки. Зеленые, белые, розовые, голубые. «Русские солдаты-герои! Войне пришел конец! Москва пала! Сдавайтесь, чтобы сохранить себе жизнь! Эта листовка служит пропуском!..», «Солдаты Красной Армии! Не верьте политкомиссарам! Судьба Москвы и России решится в ближайшие дни! Спасайте свою жизнь! Эта листовка служит пропуском...», «Русские! Вам не будет пощады! Бросайте оружие и свои позиции! Немецкая армия сильнее вас! Сталин уже принял решение бросить Москву. Что вы защищаете? Скорее сдавайтесь немецкому командованию. Эта листовка служит...»

Зеленые, белые, розовые, голубые. Они были разные не по цвету, а словно их писали разные люди. В одних — уже пала Москва. В других — судьба ее только решается. В третьих — наивное о политкомиссарах...

Ночью над Сережками пролетел самолет. Его обстреливали с другого берега Нары. Он увиливал от выстрелов, долго кружил, наконец сбросил на землю какую-то пачку и ушел в сторону, вдоль реки. Жителей в деревне осталось совсем мало, но когда Елка примчалась к пруду, там уже больше десятка людей о чем-то спорили и, больше того, скандалили:

— А мне?

— Брось ты! Сам видел: ихние листовки читал. Куда прешь? Дай мне лучше!

— Что мне ихние, я правду знать хочу!

— Мне!

— Мне дай!

Кто-то потрошил пачку с советскими газетами.

Елка пробралась вперед.

— Тетя Настя, мне!

— Тебе, Елочка, обязательно! Кому-кому, а тебе обязательно... А то эти прут, дьявол их поberi! Как на базаре!

Елка прибежала домой.

— Мама, мама, слушай!..

При свете коптилки, сделанной из немецкой гильзы, Елка читала:

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Газета «Московский большевик», первое ноября, суббота, одна тысяча девятьсот сорок первого года. Вот. «От Советского информбюро. Утреннее сообщение тридцать первого октября. В течение ночи на тридцать первого октября наши войска вели бои с противником на Волоколамском, Малоярославецком и Тульском направлениях...» А вот слушай: «За тридцатое октября уничтожено тридцать семь немецких самолетов. Наши потери восемнадцать самолетов...» И еще смотри: «Бои на Западном фронте». Вот: «Минувшие сутки ознаменовались стычками на правом и левом флангах нашего фронта. Вчера и сегодня артиллеристы командира Рокоссовского обстреливали скопления вражеской пехоты, нанося ей большие потери. Войска командира Ефремова, действующие на Малоярославецком направлении, вели ожесточенные бои за овладение рядом важнейших стратегических пунктов, расположенных на дорогах к Москве. На этом участке фронта наши войска успешно ликвидировали мелкие группы автоматчиков, просочившихся еще накануне на восточный берег реки Нары...» Ведь не сдали же Москву, не сдали!

— Значит, Москва жива, — сказала мать.

— Да, конечно, мама! Как же! И газета вышла в Москве! — говорила Елка. — Смотри...

Она читала заголовки:

**Мужественно и бесстрашно
защищать
родную Москву!
ЧЕТЫРЕ НАЛЕТА НАШЕЙ АВИАЦИИ НА БЕРЛИН.
Передовое человечество — на стороне СССР.**

И еще другие:

**Тысячи деталей для боевых машин.
ГЕББЕЛЬС ПРИЗЫВАЕТ НЕМЦЕВ К НОВЫМ ЛИШЕНИЯМ.
ФИЛЬМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБОРОНЕ МОСКВЫ.
Концерты в зале имени Чайковского.
ВЫДАЧА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КАРТОЧЕК.
СЕГОДНЯ В КИНОТЕАТРАХ.**

Сколько времени в Сережках не было газет! А ведь когда-то, до войны, были, а Елка их почти не читала. Да что там почти... А теперь... Смешно, наверно? Наверно...

И еще у нее почему-то сейчас было ощутимо хорошо на душе. Почему? Почему же? Ах, ведь Леонид любил читать газеты. Вот почему... Леонид, Ленька... Странно! Где он?

В какой уже раз она перечитывала это письмо. Написанное убористым, корявым, плохо разборчивым почерком. Давнее, довоенное письмо:

«Здравствуй, Елка! Ты скоро поедешь с отцом в Эстонию, как ты мне говорила. Но ты там никогда не была. И вот я покопался тут в книгах и пишу тебе о том, что узнал об Эстонии и ее главном городе Таллине. Может быть, тебе это пригодится, когда ты будешь там.

Эстония, или Эстляндия, как ее называли раньше, расположена вдоль южного берега Финского залива. Кроме того, ей принадлежит более 700 островов. А населения всего один миллион. И почвы малоплодородные: много болот, торфяников.

Таллин (бывший Ревель) — столица Эстонии и один из самых красивых городов Европы. В нем много зелени и исторических памятников. Самый красивый — это древняя крепость Вышгород, где есть замок с башней „Длинный Герман“ и Вышгородская церковь. В старой части города тоже много памятников

средневековой архитектуры. При Петре I в Таллине был построен дворец Кадриорг с большим парком.

А еще Таллин — большой порт. Он имеет обширный, защищенный и ненадолго замерзающий, а иногда и вовсе не замерзающий рейд. Значит, ты там будешь купаться в море. Это хорошо. Я, например, никогда в море не купался.

В Таллине есть и крупные заводы: „Вольта“, целлюлозно-бумажная фабрика, фабрика „Балтийская мануфактура“. На них много рабочих-революционеров.

Да, забыл написать, что остатки древних сооружений сохранились в Эстонии во многих местах. Кроме старинных церквей и костелов, а также развалин замков, встречаются городища и курганы, в которых находят предметы исторической и доисторической эпох. Если сможешь, обязательно посмотри.

Вот и все. Больше писать нечего...»

Это было его, Ленкино, письмо. Единственное письмо.

На третий день Елку опять вызвали. Пришел посыльный, когда уже все пытались уснуть, и сказал:

— Я за тобой. Не сердись, что поздно.

Глубокой ночью Елку провели по ходам сообщения.

— Я знаю, — сказала она, когда боец остановился у входа в землянку.

Елка отодвинула плащ-палатку и спустилась вниз. Сколько раз ей приходилось быть здесь перед переходом на ту сторону? Три, четыре, пять раз? Пять. Пять раз после возвращения она тоже приходила сюда.

От коптилки поднялся незнакомый пожилой военный со «шпалой» в петлицах.

— А где... — вырвалось у Елки.

— А-а... Политрук Савенков? — догадался капитан. — Вчера... Да... убили... Такое уж наше дело... Теперь вот со мной придется держать связь... Сколько же тебе, — спросил он совсем неофициально, — малышка?..

— Пятнадцать. Да только какое это имеет значение!

— Не боишься?

— Я уже ходила.

— Вода холодная небось?

— Ничего, сейчас замерзла.

Их перебили. В землянку ворвался младший лейтенант, крикнул у входа:

— Опять автоматчики!

— Прости! Подожди! — сказал капитан.

За землянкой в самом деле вовсю раздавались выстрелы — ружейные, автоматные, рвались мины.

Елка осталась ждать капитана. А думала сейчас о Савенкове. Неужели его нет теперь, совсем нет? А ведь с политруком ее знакомил папа... Когда она пойдет туда, за Нару, она скажет папе о Савенкове. А может, лучше не говорить? Ведь... Стоит ли говорить о таком?

Капитан ворвался в землянку, еле дыша:

— Все! Прикончили! Прут, черти, каждый день! Ну, как ты тут, не соскучилась?..

Елка промолчала. Не знала, что сказать.

— Ну, так как? — переспросил капитан, чуть отдышавшись. — Опять пойдешь?

— Нужно — пойду.

— Нужно, доченька, — почти нежно сказал капитан. — Придется сейчас же пойти к батю и узнать, когда немцы собираются начинать, это — первое, как мост — второе. Это очень важно. Поняла?

— Да.

— Когда вернешься?

— Завтра с темнотой.

— Ступай, как говорится, с богом.

Уже у выхода он окликнул ее:

— Да, давай познакомимся. Капитан Елизаров. А тебя как?

— Зовите просто Елкой...

Ночь. Редкая тихая ночь. Замерли берега Нары. Ни выстрела, ни взрыва. Замерло небо, угрюмое, низкое, темное. Ни гула самолета, ни луча прожектора. Замерли леса. Лишь порывистый ветер гуляет среди деревьев, смахивает снежок с хвои да потрескивают стволы елей, словно по ним стучат дятлы.

Зима наступает нехотя, вяло. Снег идет от случая к случаю, будто размышляя: стоит ли до настоящих морозов? А морозов так и нет. Даже ночью всего три-четыре градуса. Разве это зима?

Молчит, притаился в скромной полузимней одежде наш берег. Молчит, что-то замышляя, берег немецкий. Странно, что у Нары есть теперь немецкий берег. Но он есть — там, за рекой, немцы.

Елку удручает сегодняшняя тишина. Она замерла у обрыва, не решаясь шагнуть вниз, к реке. Слишком тихо. Слишком! Шум леса — это не шум...

Провожающий ее незнакомый лейтенант понимающе молчит. Сейчас он при ней, а не она при нем. Она для него — высшее начальство, поскольку есть приказ капитана: «Доставить до места перехода, в целости и сохранности доставить!» Лейтенант понимает, что ни советовать ей, ни подсказывать он не может. Она знает лучше, когда и как.

И все же он не выдерживает, шепчет:

— Смолой-то как пахнет и берестой. Вкусный запах!

— Да-да, — безразлично соглашается Елка, вглядываясь в чужой берег.

Они сидят почти у самого обрыва, прячась за стволами ели и березы.

Ель и береза, будто по заказу, растут рядом, как стереотруба, образуя отличный обзор противоположного берега. Но там тихо сегодня.

Почему так тихо?

— Время напрасно уходит, — прошептала Елка. — Обидно!

Лейтенант поддакнул, хотя и не очень понял. Он впервые выполнял такое задание.

И в тот же момент на немецком берегу загремело радио:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...

— Наконец-то! — обрадовалась Елка.

— Это что, немцы? — поразился лейтенант.

— Приманивают, — объяснила Елка. — Радиоустановка у них. Сначала песни наши крутят, а потом кричат: «Рус, сдавайся!» — и стреляют...

Лейтенант меньше суток был на фронте.

...Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет, —

гремело за рекой радио.

— Теперь мне пора, — сказала Елка. — Я пошла.

И она нырнула вниз, в темноту.

Когда через три с лишним часа Елка добралась до места, она поняла: ждать темноты не придется.

— Немцы начнут форсировать Нору ровно в полдень, — сказал отец. — Сведения точные. Мост нами заминирован. Как только немцы ступят на мост, он взлетит... И потом, скажи капитану...

— Тогда я пойду сразу. Надо передать.

— Дойдешь?

— Дойду, папа...

И она пошла обратно, хотя уже светало. Она шла быстро. Немцев она не боялась. Встречалась с ними не раз. И теперь: поплачет, в крайнем случае, похнычет — отпустят. Что с нее, девчонки, взять? Мать у нее в Сережках, братишки, сестренка маленькая, папа больной. Вот и гостинцы им несет от бабушки из Выселок...

Три деревни она прошла благополучно. Немцы пропускали ее.

Один долгоязыый, с рыжими усами, чуть не перепугал Елку, когда она уже вышла из последней деревни. Он взял ее под руку, отвел в сторонку и, осмотревшись по сторонам, где толпились другие фрицы, стал что-то горячо растолковывать Елке. Она, знавшая немецкий на уровне своих одноклассников, всю жизнь долбивших одни артикли, ничего не поняла.

Немец озябшими руками достал из-за пазухи губную гармошку и стал совать ее Елке.

— Нах Москау коммен вир, кляйне, дох нихт. Унд цурюк аух нихт! Ним! Их браухе ее нихт!³

Елка в испуге схватила гармошку, чтобы не связываться. Немец довольно улыбался.

А вообще-то немцам было не до Елки. Дороги запружены техникой. Артиллерия наготове. Минометчики и бронемашины подтягиваются к Наре. Офицеры носятся, отдают приказания. Уверенные в своей силе и превосходстве, они действительно, видимо, готовились к решающему...

До Нары оставалось сто метров. Уже мост был виден.

— Хальт! Вер ист да? Вохин реннст ду? Ком цурюк!⁴

Елку задержали... И, кажется, прочно.

Она плакала, хныкала, повторяла заученное так, что и сама, кажется, верила:

— Мне же надо, дяденьки! Ой, как надо! Я через мост быстренько-быстренько пробегу, а там и деревня наша — Сережки...

Теперь у нее действительно оставался единственный выход: идти на глазах у всех через мост. Свои по ней стрелять не будут. Свои увидят — поймут. Лишь бы уговорить этих...

И она уговорила.

— Пойдошь, дэвочка, пойдошь, — сказал один из немцев на ломаном русском. — Ми тебя проводимь! Сами проводимь! А тэпэрь отдохны! Совсем чьють-чьють...

Остальные хохотали.

Ее сунули в какой-то погреб.

И медленно-медленно тянулось время. Прошло не меньше часа. И больше. И еще больше.

Вдруг наверху задрожала земля. Вой. Грохот. Опять вой.

Она прислушалась. Поняла: это немцы стреляют по нашим.

...Через полчаса ее вывели из погреба.

Сказали:

— А тэпэрь идь, дэвочка! На мост, на мост идь! Ми тэбя проводимь!

И опять хохот.

Теперь она поняла, в чем дело.

И пошла. Пошла в сторону моста. Совершенно одна. Но сейчас за ней, наверное, двинется ревушая колонна бронемашин и мотоциклистов.

Шаг. Два. Пять. Она шла на чуть дрожащих ногах. Еще пять шагов. Стала считать про себя: десять, восемнадцать, двадцать три... Вот уже и мост.

Наш берег молчал. Видят ли ее наши? Видят ли? Конечно, видят! Но почему же они

³ До Москвы мы все равно, девочка, не дойдем. И обратно не дойдем! Бери! Мне не нужна! (нем.)

⁴ Стой! Кто идет? Куда тебя несет? А ну-ка назад! (нем.)

молчат?

Она обернулась. Немецкая колонна осталась на том берегу. Странно. Значит, надо идти. Все равно идти. Еще... Еще... Шаг... Шаг... Это тридцать первый, кажется... Тридцать два... Тридцать три... Тридцать...

Она бросилась вперед. И что-то кричала.

Воздух потряс страшный взрыв. Елка почувствовала его не только ушами, но и спиной. Она упала. Потом, кажется, вскочила и вновь побежала вперед — уже по нашему берегу. Спина горела. Неужели ее ранило? Теперь она думала о капитане Елизарове. Ему надо сказать то, что передал папа. Это очень важно! Даже не мост этот, а другое...

Елке казалось, что она бежит по пустыне. Как все хорошо! Она вырвалась из такого... Но почему так жжет грудь и тяжело дышать?.. Может, она и верно ранена?..

Мост еще продолжал рушиться, давя и губя немецкую колонну, когда заговорил наш берег. Шквал огня ударил по немцам, растянувшимся на противоположной стороне реки, по танкам, которые пытались перейти реку вброд, и дальше — по артиллерийским и минометным позициям...

И Елка видела это. Оказавшись у своих, она оглянулась на Нару, и на бывший мост, и на тот, ныне чужой берег, с которого только что пришла.

Еще метров десять вверх. Там ель, и береза, и песчаный обрыв, откуда она уходила. Ель и береза, растущие вместе. А потом знакомым ельником к знакомой землянке. В общем-то, этот капитан Елизаров, судя по всему, хороший. Жаль, конечно, политрука Савенкова. Тот был лучше...

Больше Елка уже не могла ни бежать, ни думать. Ударил еще снаряд немецкой гаубицы. Ударил рядом с песчаным обрывом, на котором стояли ель и береза... Ударил рядом с Елкой.

Если бы Ленька был в сорок первом в этих местах, он узнал бы, что немцы так и не форсировали Нару. Немцы, которые перешли в своем страшном походе тысячи рек, больших и малых, остановились перед маленькой подмосковной Нарой и уже не двинулись дальше. Наоборот, отсюда они покатались назад...

Если бы Ленька приехал в Сережки после войны, он увидел бы обмелевшую Нару и новый железобетонный мост через нее, на котором уже нет знака, сколько тонн он выдерживает.

Этот мост здесь зовут Елкиным.

И школу — новую школу, выросшую на месте старой помещичьей усадьбы, — тоже зовут Елкиной школой.

И еще в Сережках есть Елкин дом. Он сохранился с прежних лет, только подремонтировался чуть, приобрел крышу шиферную, а так — прежний. И хотя давно нет в живых старых хозяев дома, его зовут Елкиным...

Но Ленька не мог приехать после войны в Сережки. В далекой Венгрии есть озеро Балатон. Оно куда больше, чем Нарские пруды, на которые они собирались когда-то с Елкой. Там, недалеко от озера Балатон, в братской могиле похоронен танкист Леонид Иванович Пушкарев...

А я часто приезжаю в Сережки...

Нет в России для меня более близких и дорогих мест, чем Подмосковье.

Они, места подмосковные, ни с чем не сравнимы — ни по красоте, ни по особой душевности своей. Они и есть Россия.

Приезжая в Сережки, я прохожу по Елкиному мосту. В Елкину школу заглядываю. И, конечно, на местное кладбище, где вижу знакомые мне могилы: Ричарда Тенисовича — Елкиного отца, Елены Сергеевны — Елкиной матери, Александры Федоровны — Ленькиной бабушки...

Здесь нет только одной могилы — Елкиной. И не только здесь. Ее не может быть. Елку никто не хоронил...

Елка. Елочка. Елка-палка. И еще — Анка, Аня, Энда, «своя...».

Она так и не успела съездить в свой Таллин. И в комсомол вступить не успела. Она не успела даже надеть солдатскую шинель, как Ленька. Не успела...

Ее звали Елкой.

Ее и по сей день зовут Елкой.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)